

ВЛАДИМИР КРУПИН

## НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В русском языке термин “несобственно-прямая речь” означает приём, когда автор прячется за героя, говорит вроде бы от его имени, но фактически это говорит он сам. Приём этот помогает, может быть, раскрытию замысла, но есть всё-таки в этом приёме некая хитринка: спросить не с кого. Кто говорит? Автор? Нет, вроде бы герой. Герой тоже легко отопрётся: это, мол, не я сам, а за меня говорят. Таким приёмом, по сути, написаны многие работы Александра Солженицына, начиная с “Одного дня Ивана Денисовича”. Поток его “однодневного” сознания и размышления идёт вроде бы от его имени, но мы-то понимаем, что это не герой такой умный, это автор, а уж автор знает, о чём и как думает советский заключённый.

“Красное колесо” – это десятки, чуть ли не сотни авторизованных персонажей, когда автор, овладев приёмом стилизации, может говорить и “царским”, и “военным”, и “мужичьим” языком. Полифония – по-русски многоголосица – должна создавать “узловые” и вместе с тем типичные моменты русской переломной истории. Не знаю, как другие, а я просто устаю от такого приёма. Полифония звучания кажется мне шумом, персонажи – куклами, которые изображают реальных исторических лиц и говорят то, что прикажут... Воля ваша, я много раз, и по-тихому, и с разбега, кидался под колёса “Колесу” и вскоре обнаруживал себя на обочине дороги, по которой оно каталось туда и сюда.

Может, это кому-то покажется резковато сказанным, но что делать – случилась мне под руку статья из “Нового мира”, где “Колесо” названо “грандиозным”, сочетающим “в себе художественную эпопею с историческим исследованием, фундированным, наверное, нисколько не меньше, чем самая солидная научная работа”. То, что “Колесо” фундировано, я нисколько не сомневаюсь, я просто говорю: дочитать не могу.

В конце концов, это моё личное дело – читать или не читать, может, я один такой, кому-то и “Красное колесо” – икона. И Солженицын – в красном углу. Разве мы не помним ошеломляющего 11-го номера “Нового мира” за 1962 год?! Библиотекарша воинской части дала мне журнал на одну ночь. Кстати, это “на одну ночь” было и с другими трудами писателя, за одну ночь читали мы слепые самиздатские тексты “Архипелага”, “В круге первом”, “Раковый корпус”. Но такая была сильная тяга к правде, такая молодая память, что, когда я читал превосходные по своей полиграфии заграничные и здешние издания этих работ, то ничего нового не вычитывал.

В том же “Новом мире” потом я долгие годы был членом редколлегии и (легко поднять протоколы её заседаний восьмидесятых годов) всегда выступал за публикацию произведений Александра Исаевича. Что и сбывалось вскоре, и не в одном “Новом мире”. Печатали его наперебой. Я рад, что всё-таки,

будучи главным редактором “Москвы”, удержался от соблазна потешить читателей во многом сочинённой картиной сталинской эпохи. Эпоха не эпоха, а время Солженицына было в русской литературе, а в мировой осталось на долгие годы. Почему так я сказал, что в мировой осталось? Потому что для мировой хватает нынче уже немногого, для русской же необходима художественность и духовность. Солженицын как имя был сделан спецслужбами. Всё шло, как по нотам: гонимый сиделец, живёт не во лжи, режет правду-матку. О, я помню эти вечера литературы, когда требовательный зал ценил писателей по одному признаку: как писатель относится к Солженицыну? Уважает — наш человек. Не уважает — долой. Один раз, уже давно, покойный Пётр Паламарчук организовал вечер в бывшей церкви Московских Святителей, а тогда в клубе им. Баумана, посвящённый Солженицыну. Вечер шёл часов пять. Милиция, давка, телеграммы в Вермонт. “Ценим, любим, ждём”.

Ждали и дождались. Вернулся. Лучше сказать, явился, проехал Россию, собирая слёзы и страдания для будущих работ. Не на сладкие хлеба приехал: те, кто славил, решительно отвернулись. Давали экран, отобрали: не то заговорил. Те, кто верил, продолжали верить, хотя вскоре увидели — Солженицын с демократами. С разрушителями России. Как иначе сказать, если одобрял пришествие к власти ельцинистов, оправдывал братоубийство октября 1993-го. Может быть, тут сказался отдаваемый долг за приют Ростроповичу в нелёгкие годы гонений. Тогда “Стива”, как называет его Солженицын в продолжении своих автобиографических записок “Угодило зёрнышко промеж двух жерновов” (очень точное название — нельзя же угодить меж трёх! Записки эти продолжают работу “Бодался телёнок с дубом”), так вот, “Стива”, приютивший Солженицыных, очень ярко показал себя в августе 1991-го, когда бегал по Белому дому (так назвали Верховный Совет деможурналисты, утоляя свою жажду американского устройства мира), бегал, охраняя Ельцина не с контрабасом — не до него! — с автоматом. В 1993-м, в дни расстрела, играл с оркестром на Красной площади и с пианистом — сыном Солженицына. То, что сын пианист, — это очень хорошо, другое дело, что музыка звучала на фоне проливаемой русской крови.

В продолжении записок, в “Зёрнышке”, прежняя, “телёнковская” самозначительность: “Итальянские пограничники тут задержали нас на добрых полчаса безо всяких объяснений, оказалось: бегали за моими книгами, получить автограф”. Вспомним “Телёнка”. Твардовский приезжает в Рязань к молодому, неизвестному автору читать рукопись на дому — таково условие. Автор не даёт редактору выпивать — сиди, читай. На вокзале Твардовский всё-таки отрывается от пригляда и выпивает — ах, нехорошо!

Но не все ли мы, не любой ли из нас созидал образ борца, народного защитника, великого писателя? Созидали! Иные в залётном усердии уверяли, что видели на “Матрённом дворе” призрак гоголевской шинели. Шинель была, говорили другие, но энкавэдэшная. Не мы ли мечтали: вот вернётся Исаич, и Россия будет спасена. Так что грешно порицать писателя, что он о себе высокого мнения, — мы-то были высочайшего. Мы сами вознесли его на высоту, с которой он учил жить всех: и Америку, и Японию; учил Китай с СССР не церемониться, создавал “расширительный” словарь русского языка, учил священноначалие, писал тексты молитв, нас учил жить не по лжи, возносился всё выше, вещал всё увереннее и... и перестал быть слышимым. То есть вроде слышали и читали, но жизнь в России обустройства по-своему.

Теперь, по прошествии времени, спокойным зрением видно, что диссидентство работало не против засилия марксизма-ленинизма — уже и в конце семидесятых это была картонная мишень, никто всерьёз научный коммунизм не воспринимал, кроме тех, кто на нём кормился (бурбулисы, например, афанасьевы, гайдары), а работало диссидентство на врагов России.

Те же гебисты. Ну да, подслушивают, жизнь портят, но если есть государство, должна быть служба его безопасности? А в теперешнем состоянии общества человек может быть защищён только государством. Нынешняя, совершенно дикая постановка вопроса о возвращении на Лубянскую площадь

памятника палачу русского народа говорит ещё и о том, что есть тоска именно по безопасности жизни в государстве. То есть уже и демократов допекло. Коммуны свалили, страну разворовали, население успешно разворачивается и спаивается, но всё как-то тревожно: у подъездов постреливают, и убийц — вот что, канальство, досадно! — не находят. Дзержинский бы нашёл.

Диссиденты всегда были и всегда будут чем-то недовольны. И кто сказал, что возможен рай на земле? Первые — утописты, вторые — коммунисты, третьи?.. Да, демократы. Обещали же. Вот идеологии не будет, вот рынок будет, тут-то наши слёзы и высохнут. А вышло — кровь полилась.

А Запад чему научен трудами Солженицына? Как и не было Вермонта, говорится в последнем телефильме “Узел”, но ведь и для Запада — как и не было никого в Вермонте. В том же “Зёрнышке” — описание первого после высылки появления на Западе. Не хочется к репортёрам, а всё равно надо идти. И пошёл, уже вставленный в заготовленную нишу антисоветской пропаганды. Но писательское зрение всё ещё остро, подмечает, как молодой фотограф, пятясь, хлопается на спину, жалко...

Запад выветрил из писателя художника и насытил его превозносительной учительностью. Он уже выше всех современников, ему надо с классиками разобратся. Разбирает Чехова. В статье “Окунаясь в Чехова” (“Новый мир”) очень требовательно взыскивает с классика: надо бы Антону Павловичу писать (далее цитата): “строже, лаконичней, подразумеваемой. Но тогда не писали иначе, это в XX веке научились”. Тут вроде и не смеешь думать, что, может быть, наоборот, разучились. “А слов исконных, корневых, ярких русских — у Чехова почти не бывает (от южного детства?)”, — спрашивает в скобках его ростовский собрат по перу.

Заговоривши о языке, обратимся к языку и самого чеховского исследователя. Вот из “Ракового корпуса”, без комментариев. Издание 1991 года с аннотацией: книга с “восстановленными доцензурными текстами, заново проверенными и исправленными автором”. Цитаты: “Она одними только алчными огневатыми губами протащила его сегодня по Кавказскому хребту”. Снова о губах, вскоре они уже “намятые поцелуями до огрублости”. А вот “расширительный словарь”, создававшийся, по словам автора, тридцать пять лет. Это как доказательство, что русские глаголы терпят любые приставки. И почему мне верить, что “дрязг, дром” — это “сушняк в лесу, нанос”? “Мерекать” всегда было “соображать”. Тут расширения нет. А расширение “мерковать — раскидывать умом” — очень головное, никогда не привьётся. Так я мерекую.

Кто же в России жил не по лжи, на кого надеяться? На земство? Нет. Занимаясь историей образования в России, ясно видишь, что именно земство задушило церковно-приходские школы, это высочайшее заведение, где воспитание и образование были нераздельны. На учителей надеяться? Тоже нет. Кто, как не Учительский союз в начале века, ещё до миллюковской Думы, до большевиков, высказался за изгнание священнослужителей из русской школы, именно этот Учительский союз, разогнанный большевиками в 1918-м году в благодарность за помощь в 1904 году. Нет, надеяться не на кого, только на Бога. Да это и прорывается во многих трудах Солженицына. Именно верующие в “Архипелаге” живут не по лжи, только они могут сохранять образ и подобие Божие в человеке в самых невероятных условиях.

Но и с церковью у юбиляра своеобразные отношения. Он и её учит. Выступая на Рождественских чтениях, в присутствии Патриарха Солженицын упрекает Православную Церковь (именно так, не священноначалие даже, что модно для нашей госпожи интеллигенции, а именно Церковь, которая являет собой тело Христово). Говорит об осовременивании богослужебного языка. Ну ладно, это мы слышали уже от С. Аверинцева, крепко стоящего на почве, не Российской, а Византии, но слышать от Солженицына, описывавшего страдания православных? На каком же языке они молились? На осовременном? Нет, на том же, что и преподобные Сергей и Серафим. Помню, как резануло православных именно это место о переводе богослужения на современный язык в телебеседе Никиты Струве и Солженицына. Струве можно понять — всю жизнь в Париже, но мы-то в России.

Православная Церковь никому ничего не должна, это твердыня, это скала, на которой единственно может быть основано спасение России. Уж чего только не перепробовано во всех веках закончившегося тысячелетия: конституции, республики, демократии, революции, битвы за свободу, которые обязательно ввергали в новую несвободу и новую борьбу за свободу... Церковь говорит о свободе как о данной Богом человеку возможности созидать себя по образу и подобию Божию. От этого созидания всё: спасение души, спокойствие жизни, её осмысленность. Возрождение России единственно возможно под духовным водительством Православной Церкви. Иудейская страна, некогда цветущая, погибала, когда в неё, Промыслом Божиим, явился Спаситель. И она бы спаслась, если б послушала Его. Не послушала и вскоре погибла под развалинами иерусалимского храма. Солженицын – личность многомерная. Независимая. Признак независимости – никому не старался угодить. Пребывающим в трудах он ярко показан в телефильме о нём. Ведущий – я потом понял, что режиссёр явно робел перед юбиляром, ждал скрипа ступенек, означавшего, что наступило время прогулки, – шёл вместе с героем фильма, так же, по-арестантски складывал руки за спиной (нам это долго показывали), обсуждал годовые кольца на липе, спиленной почему-то очень высоко (напоминает постамент), слушал рассказ о молнии, потом, допущенный в кабинет, сидел в углу, а нас заставлял рассматривать бороду писателя (частями), очки, стол с различными приспособлениями для письменных работ и саму эту письменную работу по вычёркиванию и вписыванию слов... Видимо, по замыслу, мы должны были соприсутствовать при творческом процессе, но, увы, мы, неблагодарные, присутствовали при рассматривании бороды и не видели процесса. Но спасибо режиссёру за вопрос о Распутине. Спасибо и Солженицыну за ответ. Выразил праведный гнев по поводу того, что радио “Свобода” назвало Распутина фашистом. “Распутин – нежная душа”, – сказал Солженицын. Он и о Чехове так писал: “Чехов – чистая душа”.

И снова дачный участок, очень большой, и снова обмен мыслями, не очень большими. Но что спрашивать с двухмерного, плоского во всех смыслах экрана?

И, конечно, вспомним уничижительное отношение юбиляра к Шолохову. Тут “аналогия” с Толстым, которому мешал жить Шекспир. Оба они – и Солженицын, и Толстой – мнили себя главными в веке 20-м, а может, и в остальных веках. Не получилось: ни зависть, ни превозношение в лидеры русской мысли не выведут. На время – да. Но Россия живёт в вечности...